

ГЛАВА 1

О любви написаны тысячи песен, повестей и поэм. Миллионы страниц усеяны миллиардами слов, бесчисленные грустные песни спеты в бесчисленных барах потрепанными жизнью мужчинами под не менее потрепанные гитары. Бесконечные ночи опалены поиском идеальной половинки, того, кто появится, и все будет хорошо. Того единственного, который все — абсолютно все — исправит.

Если повезет, любовь приходит рано, в детстве. Внимательные и добрые родители обожают тебя и во всем потакают. В книгах повсюду встречаются картинки мультяшных зайчишек, которые просят угадать, как сильно они тебя любят. Друзья, братья и сестры, тетушки и дедушки — огромный мир любви окутывает тебя подобно мягкому защитному кокону.

Впрочем, проходит не так много времени, и о любви уже говорят не мультяшные зайчишки и не мама с папой. Тебя окружает совершенно другой мир. Теперь любовь — это мальчик, который сидит перед тобой на уроке географии. У него густые кудри, дерзкая улыбка и классные кроссовки. От его улыбки у тебя кружится голова, а его имя ты тайком выводишь на внутренней крышке школьного пенала, примеряя его фамилию к своему имени задолго до свадьбы, которая непременно состоится.

Ты прожужжала о нем все уши подругам, и все твои мысли занимает только он. Каждое его слово, каждое движение, даже то, как он жует самую обыкновенную жевательную резинку, ты обдумываешь с утра до ночи. Нет никого важнее на всем белом свете, в нем заключен смысл жизни. Может быть, так не у всех. Бывает, девочка вздыхает по мальчику, мальчик страдает по девочке или пары составляют как-то иначе. Быть может, нежные чувства приходят в четырнадцать лет или когда ты разменяла четвертый десяток. Но однажды это все же случается — начинается поиск любви.

И в этом наваждении ты не будешь одинока. На самом деле мало какая тема так подробно обсуждалась и в то же время так плохо понималась. Никто и представления не имеет о том, что такое любовь, — так мне кажется. Мы все любили, однако каждый по-разному.

Голоса в радиоприемниках, проигрывателях и айподах по всему миру, слова на страницах книг на пыльных полках библиотек и магазинов, вырезанные на коре деревьев сердечки — все говорят о любви по-своему. Вот только никак не могут договориться о том, что же это такое — любовь.

Нечто огромное и великолепное или пустяковое и безумное? Поле битвы или наркотик? Алая-преалая роза, раскованная мелодия или бесплодные усилия? И верно ли, что нам нужна только она одна, как уверяли *The Beatles*?

Черт его знает — я с самого начала не могла найти ответа.

Однако кое-что я знаю совершенно точно — в моей жизни любовь была. Я ощущала ее прикосновения, расцветала в ее свете, менялась благодаря ей. Любовь была благословением и опаляющим огнем. Когда ее забирали, у меня оставались глубокие шрамы, а в невосполнимой пустоте селась боль. Я видела любовь уложенной в маленький белый ящик, который катили по проходу церкви.

Я жила с любовью, а потом много лет без любви — и я точно знаю, какая жизнь мне по душе. Дети в таких случаях говорят: «Ежу понятно».

МОЖЕТ БЫТЬ, ОДНАЖДЫ

И вот сегодня вечером, укрывшись слишком знакомым стеганым одеялом в слишком знакомом доме среди слишком знакомых шорохов, я решила, что надо быть храброй. Отыскать в душе отвагу и снова отправиться на поиски любви. Надо сделать первый шаг, а потом посмотрим, чем закончится эта история. Я должна его найти, обнять и рассказать о том, как отчаянно сожалею о случившемся с каждым из нас.

Жизнь не научила меня верить в сказки и счастливые развязки. Я не прекрасная диснеевская принцесса, в моем мире нет и не было идеальных мгновений, трогательных речей и страстных желаний.

Но сегодня, засидевшись за чтением в серебристом лунном свете, люлющемся сквозь незашторенное окно, я приняла решение: попробую сделать так, чтобы моя история обрела счастливый конец. Даже если шансов мало.

Минут десять назад солнце показалось над кронами деревьев, прогоняя лунное серебро. Еще один рассвет. Новое начало. Время заново открыть для себя то, что, казалось, потеряно навсегда.

Всего двадцать четыре часа назад, собираясь на похороны, я проснулась, почистила зубы и в одиночестве выпила чай на кухне. Я готовилась навеки проститься с женщиной, которую любила. Трудно поверить, что с тех пор миновал всего один день.

День, который начался с похорон, но окончился надеждой. Надежду я обнаружила в свертке из папиросной бумаги, надежно спрятанном в коробке на давно пустующем чердаке, среди старой одежды, ключев паутины, рядом со сломанной швейной машинкой. Я и не представляла, что эта надежда существует, а она вдруг осветила мое будущее, совсем как солнечные лучи, пробивающиеся сквозь лимонно-желтое полотно.

Надежда. Как я без нее жила?

ГЛАВА 2

Начало – днем раньше

Похороны моей матери, скромные и печальные, пришлись на солнечное утро в начале лета, отчего кажутся еще невзрачнее. Природа празднует, но никто не рад.

К эффектному зданию крематория ведут аллеи, усаженные раскидистыми вишневыми деревьями — ветви, усыпанные бело-розовыми соцветиями, клонятся к земле, а лепестки трепещут на ветру и, танцуя в воздухе, облетают на дорожки и черный кузов единственной похоронной машины, в которой я еду на церемонию.

За окном — жизнь, возрождение природы; поют птицы, тихо жужжат насекомые. Солнце нежно греет сквозь стекла автомобиля, и я закрываю глаза, запрещая себе наслаждаться летним теплом. Радоваться в такой день мне кажется по меньшей мере непочтительным.

На церемонию прощания собралось всего пять человек, считая викария. Или священнослужителя — возможно, так правильнее называть женщину средних лет, которая стоит перед нами, пытаясь сплести осмысленную поминальную речь в честь покойной, с которой не была знакома, той, чья жизнь кажется слишком мелкой, слишком незначительной — едва наберется, о чем сказать в положенные для последнего слова пять минут. Она была

моей мамой, и я ее любила. Однако сказать о ней могу немного.

Мы сидим в бликах солнечного света, проникающего в зал сквозь витражи. Уместились на одном ряду. Я, тетя Розмари, дядя Саймон и мой кузен Майкл — вот и весь мамин круг. Она не планировала церемонию похорон. Мама вообще была не из тех, кто оставляет особые распоряжения о том, как следует отметить окончание земной жизни.

Конечно, не порази ее четыре года назад несколько инсультов подряд, возможно, она бы и составила подобное расписание на этот день. Однако в последние годы у нее едва хватало сил съесть самостоятельно ложечку фруктового желе, о пожеланиях насчет последнего прощания речи даже и не шло.

Служба — благословение небесам — быстро заканчивается, можно стряхнуть ощущение неловкости. Меня в очередной раз поражают границы, в которых прошла жизнь моей матери, строго очерченное пространство, где она не смогла развернуться в полную силу. Она жила на сцене в оттенках бежевого. Жаль, что в ней не было чуть больше радости, непредсказуемости, бесшабашной смелости нарушать правила.

Неподалеку, прямая, как палка, сидит сестра моей матери, Розмари. Если в тетиной душе и бушуют чувства, она их не показывает — ни всхлипа в зажатую в кулаке салфетку, ни прикосновения к руке мужа в поисках сочувствия. Ничто в ней не напоминает о том, что мама, с которой Розмари выросла и, наверное, играла и смеялась в беззаботные детские годы, мертва. Мне трудно представить их вместе, вообразить готовыми к приключениям и отважно-беспечными.

Я всегда мечтала о сестре. Наверное, вдвоем нам жилось бы очень весело. Было бы с кем разделить радости и печали, на кого опереться в такой день, как сегодня. Однако, глядя на тетю Розмари, я понимаю, что мои мечты, скорее всего, никогда бы не осуществились.

Розмари выглядит в высшей степени собранно и бесстрастно, как истинная англичанка, и ее манеры заразительны. Мы все стараемся вести себя соответственно, прощаясь с женщиной, которая была женой, матерью, когда-то, возможно, любовницей, а прежде вечно недовольным подростком, маленькой девочкой, у которой выпадали молочные зубы. Наверное, она мечтала, строила планы, отчаянно к чему-то стремилась, чего-то желала, о чем-то сожалела. По крайней мере, я надеюсь, что так было.

В моей памяти она навсегда — только Мама, а Розмари не из тех, кто рассказывает о прошлом. Быть может, ей слишком больно об этом вспоминать. Быть может, я ошибаюсь, и под ее холодным панцирем спокойствия разверзается пропасть нестерпимой боли.

У меня тоже болит душа, я тоже едва сдерживаюсь, чтобы не выплеснуть на окружающих мой личный ад. Я несколько лет ухаживала за мамой, подчинив свою жизнь строгому расписанию необходимых процедур. И пусть физически она ослабла и даже говорила с трудом, это все же была она, моя мама.

Не стану лгать, отрицая, что меня порой не охватывало острое желание обрести свободу, забыть о расписаниях, сиделках, посещении больниц, врачей и постоянном ощущении скованности, невозможности сделать что-то незапланированное, спонтанное.

Что ж, вот она, желанная свобода, и я готова вернуть этот подарок, не разворачивая. Такая независимость кажется лишней, переоцененной, особенно если получить ее в обертке из вины, перевязанную блестящей ленточкой горя.

Мама не была молодой. Она долго и тяжело болела. Мама, как говорили или туманно намекали все, кто помогал за ней ухаживать в последние годы, наверное, и сама мечтала упокоиться с миром.

Было ли в воображении доброжелателей упокоение чем-то вроде райских облаков, на которых мама восседа-

МОЖЕТ БЫТЬ, ОДНАЖДЫ

ет в окружении ангелов рядом с любимыми (как сказала Элейн, ее сиделка), или прямолинейное «Теперь ей хотя бы не больно» (как обронил наш семейный врач), или что теперь мама «живет среди духов иного мира» (как обмолвилась в аптеке кассирша со стеклянными сережками), все сходились во мнении, что маме, если говорить без лишних сантиментов, среди мертвых лучше, чем среди живых.

Может быть, они правы, кто знает? Никто. Однако неприятные мысли без конца вертятся у меня в голове. Мне стыдно, что я желала свободы. Стыдно, ведь я хочу, чтобы мама была жива, хоть ее и терзала боль. Я понимаю, что ее больше нет, и от этого нам обоим легче, и ей, и мне, и тут же стыжусь облегчения. Меня охватывают слишком сильные чувства, чересчур беспорядочные. Я будто на американских горках, с которых не сойти, взлетаю и падаю в пропасть.

Однако все это скрыто за бесстрастным выражением лица. Нельзя подводить остальных, да и у тети Розмари может случиться сердечный приступ. Круговорот эмоций надежно спрятан у меня глубоко внутри, свернут пружиной, полный ярости и желания вырваться на волю.

Я не дам слабинку на людях. Ни при викарии, ни при служителях, переносящих гроб, ни при организаторе похорон, ни при родных — сколько бы их ни осталось. Мама сгорела бы со стыда, потеряй я лицо при посторонних. Она плакала только перед экраном телевизора, сочувствуя персонажам мыльных опер. Заливалась слезами, глядя на утраченную любовь, разрушенные семьи и изменников-ловеласов. В жизни, пока ее здоровье серьезно не пошатнулось, она всегда была сдержанна, аккуратна и пунктуальна.

Мне кажется, она бы одобрила такие похороны. Ей бы понравилось прощание. Никаких рыданий, стенаний, битья в грудь — минимум эмоций. Церемония прощания должна быть такой же, какой была она сама, сдержанной, аккуратной и пунктуальной.

И потому я держу все в себе, едва слышу, о чем говорят, старательно отвожу глаза от гроба — такого нестерпимо огромного. Я не могу спокойно смотреть на этот ящик, потому что в нем лежит моя мать. Гроб — зримое и осязаемое доказательство ее смерти.

Когда наконец все слова сказаны, церемония прощания окончена, гроб скользит по рельсам и скрывается за волшебным занавесом. Все так странно и невероятно, будто происходит с кем-то другим, а я, покинув собственное тело, наблюдаю за случившимся со стороны.

Выйдя из зала, мы останавливаемся в тени готического здания Викторианской эпохи, защищая глаза козырьком ладоней от грубого вторжения солнечных лучей, которые прорываются сквозь прорехи в водостоках и огибают темные углы. Мы стоим небольшой нескладной группой, все в черном, — ожившие светские условности.

Мы выходим, а на наше место на конвейере смерти прибывает новое семейство — длинная вереница блестящих автомобилей, шумные, рыдающие родственники, пышные букеты гвоздик и лилий, из которых складывается «Дедушке». Под песню Фрэнк Синатры «*My way*» безутешные друзья и родные входят в здание.

После прощания наверняка накроют роскошный стол — будут и пироги со свининой, и яйца по-шотландски, выпивка рекой, слезы и, возможно, даже драка. Они всё сделают по-своему.

Всё не так, как у нас, и Розмари бросает на них полные неприязни и отвращения взгляды, как будто горевать на показ непростительно и неприлично и так делают лишь низы общества. Сбросив щелчком с плеча черного жакета бело-розовый лепесток, тетя молча отворачивается.

У нас поминок не будет. Ни караоке со слезами в пабе, где мы, скорбно улыбаясь, поделились бы драгоценными воспоминаниями, рассказами о тяжелых временах. Мы просто разойдемся в разные стороны.

МОЖЕТ БЫТЬ, ОДНАЖДЫ

— По крайней мере, ее страдания закончены, — произносит Розмари.

— Благодарение небесам, — поддакивает Саймон.

— Конечно, вы правы. Спасибо, что пришли, — отвечаю я, потому что этого от меня ждут.

Потому что в память о маме я тоже буду сдержанной, аккуратной и пунктуальной. Хотя бы еще несколько минут.

Тетя и дядя вежливо меня обнимают, как будто так ожидается, и их объятия словно взяты из «Книги этикета на похоронах близких родственников» — короткие и сдержанные, физический контакт сведен к необходимому минимуму. Объятия предлагаются и принимаются с равным отсутствием энтузиазма с обеих сторон. И вот уже я с огромным облегчением провожаю взглядом направляющихся к своему «Ягуару» родных.

Майкл остается со мной. Рассуждая простодушно, можно предположить, что двоюродный брат пытается поддержать меня в трудную минуту. А если забыть о добrote, то ясно: он, наверное, готов на что угодно, лишь бы не оставаться с родителями дольше, чем требуют приличия. Хотя вполне возможно, что верно и то и другое.

На похороны мы приехали врозь: я — на машине похоронного бюро, Майкл — на своем «Фиате 500», а его родители на «Ягуаре». И не надо быть Фрейдом, чтобы докопаться до сути. Наша семья развалилась, можно не сообщать об этом окружающим, надев майки с кричащими надписями «Неблагополучное семейство».

Сотрудники похоронного бюро уехали на больших черных машинах, чтобы доводить до белого каления водителей на городских автомагистралях. После короткого обмена репликами Майкл предлагает подвезти меня до дома, и я с благодарностью соглашаюсь. Нет сил, да и не хочется поддерживать беседу с водителем такси. Долговязый двоюродный брат неуклюже забирается за руль

крошечного «Фиата», будто великан в автомобиль лилипутов, и я сажусь рядом.

Мы едем молча, уяснив за годы воспитания в нашей семье, что молчание — единственный достойный способ общения. Молча ни скандала не закатить, ни непристойности не ляпнуть. Майкл включает радио, и мы виновато улыбаемся развеселому хиту Кэти Перри. Песня будто режет по-живому, такая неподходящая, бесшабашная. Розмари бы такого не одобрила, отчего песня становится еще более острым запретным удовольствием.

Вместе с Майклом и под пение Кэти мы добираемся домой, туда, где я выросла.

Дом стоит особняком — очень красивый, в эдвардианском стиле, из мягкого светлого камня. Дверь ровно в середине фасада, окна большие, на втором этаже пять спален. В таком доме должно было жить куда больше народу, чем собиралось в этих стенах даже по праздникам, здесь ожидалось больше веселья, чем нам довелось испытать, больше шума и гама, чем мы произвели за всю жизнь.

Дом прячется в тихом уголке некогда небольшой деревушки, которая в пятидесятых годах прошлого века, воспользовавшись случаем, едва ли не против воли разрослась до городка.

Старые здания в городке симпатичные, деревянные или обшиты деревом, среди них и туристическая достопримечательность — выкрашенный в черно-белый цвет паб, и старомодная ратуша, и выстроившиеся вдоль центральной улочки причудливые домики, в которых открыли кондитерские лавки и всевозможные мастерские.

В новой части города, построенной во второй половине прошлого века, — пабы сети «Уэзерспун» и супермаркет «Альди» среди поистине уродливых безликих кварталов, где расположились букмекерские конторы, продавцы электронных сигарет и умельцы, готовые взломать любой мобильный телефон. Что-то вроде современного Содома и Гоморры, как считали мои родственники.

МОЖЕТ БЫТЬ, ОДНАЖДЫ

Наш дом стоит на усаженной деревьями улице и надежно защищен со всех сторон фешенебельными кварталами. Неподалеку — утиный пруд, почта и начальная школа, в которой я работаю.

Открыв тяжелую деревянную дверь, я переступаю порог и останавливаюсь — в старом доме прохладно даже в жаркий день. Взгляд цепляется за осколки маминой жизни, впившиеся в дом, будто занозы в кожу. Вот ходунки, которыми она почти не пользовалась; вот кресло с откидной спинкой — в нем она практически жила; на низком столике — таблетки, микстуры и тонометр — провода свиты в кольца, будто спящие змеи.

Дни, месяцы, годы и десятилетия впечатаны в стены — замерли в слоях обоев, спят рядом с давно вышедшими из моды настольными лампами восьмидесятых годов прошлого века, шелестят в тяжелых складках жаккардовых штор, призванных не пропускать свет в гостиную, когда мама сидела перед телевизором и смотрела «мыльные оперы», которые она, как уверяла при жизни отца, ненавидела.

Папа сериалы на дух не переносил — следить за перипетиями жизни ничем не примечательных людей, да еще и выражающихся не слишком грамотно, он считал бессмысленной тратой времени.

Когда отец умер, я было решила, что мама вырвется на свободу, сбросит путы до тошноты правильной жизни и станет ходить на буйные вечеринки, ужинать заварной лапшой в чем мать родила или начнет петь а капелла в хоре.

Но она всего лишь принялась смотреть сериалы «Жители Ист-Энда» и «Улица Коронации». Вот и весь бунт. На большее ее мятежного духа к тому времени не хватило.

Майкл ошеломленно трясет головой. Он на удивление похож на Шэгги из мультика про Скуби-Ду, когда тот входит в дом с привидениями.